Карина Седова

ШАЙМАРР

Дрэммар • Ирмаун • Орра



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Карина Седова
«Шаймарр. Том 3. Орра»

https://litres.ru/74838008
SelfPub; 2026

Аннотация

Шаймарр – роман в 3 томах. Данный электронный том содержит Часть 3: Орра.

Пять недель в Ирмауне никто не заканчивается.

Мосты срастаются, дома пускают корни друг в друга.

Тот, кто сидит у двери на дне, говорит только с теми, кого заканчивает.

Теперь он говорит с Тавьером Нимом.

Ульма Веш всю жизнь решала за всех.

На этот раз ей придётся спросить.

Внизу, ниже девятого яруса, сто сорок лет ждут, чтобы им дали договорить.

Внимание: это заключительный том.

Перед чтением обязательно прочтите "Шаймарр. Том 1. Дрэммар" и "Шаймарр. Том 2. Ирмаун".

Выдано Российской книжной палатой (Национальным агентством ISBN)

Издательство: СЕДОВА КАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. ISBN 978-5-600-05617-6

Все права защищены. Любое копирование текста преследуется по закону.

Содержание

Глава 1. Радужные пятна розовой воды. 7
Глава 2. Крошечный носок, обманувший решётку. 28
Глава 3. Хор за простынями из луковой кожи 52
Конец ознакомительного фрагмента. 72



«Шаймарр. Том 3. Орра»

Глава 1. Радужные пятна розовой воды.

Мэйруки не могли остановиться.

Слово вышло из них разом, из всех, кто сидел на бортике сада и на парапете над воронкой, хором, голосом, которого ни у одного из них не было, а когда голос ушёл, слово осталось. Оно выходило снова. Само. Как икота у ребёнка, который долго плакал. Старый Хэмм Ралл сидел на камне, подобрав колени, розовые раковины его ушей, разросшиеся за пятьдесят лет до плеч, дрожали, и он открывал рот, чтобы сказать что-то своё, а выходило: «Пора». Нэббэ, его ученик, зажал рот ладонью, и слово прошло сквозь пальцы, мокрое: «Пора». Мэйрук с приросшими ушами, тот, что каждый год называл в шахту первое имя Гуррэна, лежал щекой на камне и шептал слово в трещину, обратно вниз, туда, откуда оно пришло.

– Пора, – сказал Хэмм Ралл и заплакал. – Пора. Пора.

Он плакал некрасиво, по-стариковски, с открытым ртом,

и слёзы текли по коре щёк в раковины ушей и пропадали. Пятьдесят лет он слушал шахту. Пятьдесят лет пересказывал площади шорох, гудение, глотки узкой двери, храп шарвов, песню стены, и ни разу оттуда не поднялось слово. Кхарн говорил только с теми, кого заканчивал, издалека, им одним. А тут сказал. Площади. Всем. Через рот Хэмма Ралла.

– Пора, – сказал Нэббэ сквозь пальцы и посмотрел на учителя с ужасом.

Рассвет поднимался из-за Иммарра. Лепестки на шоррах парапета ещё светились, но устало, и молоком и сеном пахли слабее, чем ночью. Один за другим они складывались и падали на камень с мокрым шлепком, а шорры, сто лет сидевшие смотреть в шахту, медленно закрывали глаза, как люди, которые хорошо выспались и решили поспать ещё.

Тавьер держал девочку.

Держал голыми руками, единственным, что на нём ещё было своим. Она была тёплая, тяжелее, чем он думал, мокрая, и пахла так, как не пахло ничто в Ирмауне: не лаххом, не воском, не цветами. Собой. Новым. Она не плакала. Лежала у него в ладонях, сморщенная, красная, с прилипшим к виску лепестком, смотрела мутными глазами, не видя, и крошечная рука с ногтями мельче рыбьей чешуи сжималась

и разжималась в воздухе. Тавьер знал этот жест. Так двигались руки в банках, когда он входил в комнату. Так машут, когда не видят, кому.

Голос, который вышел из мэйруков, он узнал на первом слоге.

Он слышал его один раз целиком, в комнате за печкой, через кору, которая тогда стала горячей. Этот голос рассказывал его матери, как она родилась на полу прачечной, как ела вишню у красилен, как считала вдохи младенца, его вдохи. А раньше он слышал его на дне, у самого уха: голос говорил скучное правило тем тоном, каким ратхин у окошка говорит, что приём до полудня.

Потом я говорю только с теми, кого заканчиваю.

Тавьер стоял в саду у края с дочерью в руках, вся Тэмха стояла вокруг стеной, и все смотрели не на девочку, а на него. И он понял. Не головой. Так понимают, что ступенька под ногой качается: телом, раньше слов. Голос заговорил с ним.

Кора под подбородком была тёплая.

– Дай, – сказала Ульма.

Она лежала на двери, снятой с петель Тиррхиного дома, на мокром насквозь одеяле, с лепестками в волосах и искусанными губами, и протягивала руки. Руки дрожали, но не просили, а требовали. Он опустился на колени и положил девочку ей на грудь. Ульма обхватила её обеими ладонями, всю целиком, ладони оказались нужного размера, и посмотрела на неё, а потом на него.

– Пора, – всхлипнул за её спиной Нэббэ.

– Да заткните его кто-нибудь, – сказала Ульма. Голос после ночи крика сорвался, почти без звука. – Пожалуйста. Он не нарочно. Я знаю, что не нарочно. Но заткните.

Пэлла Дронн подошла к Нэббэ, наклонившись под своим крылом, молча обняла его за голову и прижала лицом к фартуку, и слово ушло в фартук.

Ойса Квелл стояла у парапета с раскрытой книгой Ратха. Она пришла ночью вписать начало и вписала: час, место, имя. Тавьер видел, как её перо остановилось на следующей строке, той, которой не было в бумаге, внизу, без заголовка. Чернила собрались на кончике в каплю. Ойса смотрела на его шею, на подбородок, и лицо у неё стало как у человека, который сверил цифры, нашёл, что они сходятся, и очень хо-

тел обратного. Капля упала на страницу. Ойса закрыла книгу, не промокнув.

Аммура Веш сидела в кресле у изголовья двери, за ней стояли восемь носильщиков в синем, и четыре сестры молчали. Это было страшнее всего: Аммура молчала. Первая сестра открыла рот, потом вторая, третья, и ни одна ничего не сказала. Четвёртая, самая младшая, та, что всегда плакала, протянула одну из восьми рук и положила Тавьеру на колено. Просто положила. И не убрала.

Тиррха Лэн сидела на земле у двери и держала Ульму за ту руку, которой Ульма не держала дочь. Всю ночь, между схватками, она ела луковые лепёшки, кулёк давно опустел, и теперь она жевала его уголок. Поймав взгляд Тавьера, вынула бумагу изо рта, посмотрела с удивлением и сунула в карман.

– Ну, – сказала Тиррха. Впервые за тридцать лет не громко. – Ну, мальчик.

И больше ничего не сказала.

Пим, который первым сказал девочке «привет», стоял у самой головы Ульмы с красной лентой учителя на запястье и ни о чём не спрашивал. Брух сидел у его ног и смотрел на

Тавьера, наклонив голову, как смотрят собаки, когда хозяин говорит знакомое слово чужим голосом.

Шимма Фро сидела у бортика в кресле с тремя колёсами, одно из которых скрипело на две ноты. На подлокотниках лежала доска для ставок, мелом на ней было написано «на девочку» и стояла цифра. Шимма посмотрела на цифру. Потом на мэйруков. Потом облизала палец, медленно стёрла доску до последней черты и вытерла палец о шаль.

– Табурет, – сказала она. – Домой.

Табурет взялся за спинку кресла, кресло скрипнуло на свои две ноты, и в этом скрипе была вся Тэмха, какой она была вчера.

Расходились молча.

Никто не решал, никто не говорил. Стена людей, стоявшая на Нижнем мосту, а потом всю ночь вокруг сада, начала расходиться, как расходится вода, когда из неё вынимают руку. Крэннеры подняли пустые мешки, из которых ночью вытряхнули на мост живую крэнну. Прачки Оннэ и Сутт скатали мокрые простыни. Лаххеры подняли котлы. Орвэй Дамм, ваймер Иммарра, всю ночь простоявший с пустыми руками, посмотрел на них, чужие, длинные, пианистовы, и

не ушёл наверх, а пошёл вниз, со всеми.

Дверь с Ульмой и девочкой подняли восемь человек: четверо синих носильщиков Аммуры и четверо крэннеров. Та же дверь, на которой её принесли. Несли через сад, мимо закрывших глаза шорров, по лестнице на Нижний мост. Тавьер шёл рядом и держался за край двери, за старое исцарапанное дерево, пахнущее синей краской из Тиррхиного двора, потому что больше держаться было не за что. Ульма лежала с закрытыми глазами, девочка спала у неё на груди, а у её головы на одеяле лежала деревянная ложка с обгоревшим краем: Тиррха положила её ночью, и никто не посмел убрать.

На мосту ещё валялась крэнна, которую не успели подобрать: пальцы, кисть, чья-то ступня. Ступня ползла к теплу, к перилам, к шорру Хорму, вросшему в перила сто лет назад. Когда дверь проносили мимо, Хорм медленно, в три паузы, открыл рот.

Все остановились. Все ждали, что он скажет «пора».

– Тише… – сказал Хорм. – Спит… же.

И дверь понесли дальше.

У каждого дома кто-то уходил. Без прощания. Пэтт, дер-

жавший верёвку Бруха, отдал её Пиму и свернул на Кривую. Оннэ и Сутт ушли в прачечную; Сутт обернулась на пороге, хотела что-то сказать, и Оннэ взяла её за локоть и увела. Прощание в Ирмауне одно, и оно вдруг не годилось. Никто не мог сказать Тавьеру «лёгкого тарха», и никто не знал, что сказать вместо. Тэмха таяла вокруг двери, дом за домом, и к сорока двум ступеням дверь подошла с теми, кто её нёс, с Тиррхой, с Пэллой, с Пимом и псом.

На седьмой ступени носильщики сбились с шага. Седьмая качнулась, как качалась всегда, под всеми.

Дома было то, что было всегда.

Высокий табурет у окна, пустой, с подушкой, привязанной к спинке. На подоконнике тихая урна, серая, с узкой горловиной, на которую Пэлла когда-то повязала кусок тёмно-красной шерсти из шарфа. Шарф уже не лежал по всему полу: Ульма за зиму собрала его и сложила, и он тянулся у стены, длинный, полосатый, тёплый. Занавеска, сшитая из спокойных рук, ладонь к ладони, по ночам сходилась, по утрам расходилась сама; сейчас было утро, и она с шорохом раздвигалась, пропуская свет. На трёх полках над печной трубой стояли банки.

Ульму уложили на кровать за печкой. Девочку положили

рядом, в бельевую корзину, в ту, в которой Оннэ и Сутт зимой вынесли Ульму из Иммарра под простынями. Корзину выстлала Пэлла, ворча, что чистое у них тут только то, что она сама постирала. Брух обошёл корзину три раза, обнюхал, вздохнул всем брюхом и лёг мордой к ней. Уснул сразу. Он тоже ночь не спал.

Тиррха поставила на печь котелок. Пэлла пошла к себе за похлёбкой. Аммура осталась у крыльца, потому что кресло не прошло в дверь, и молчала четырьмя ртами.

Девочка проснулась к полудню и не заплакала. Ульма кормила её, сидя в подушках, неловко, впервые, и ругалась на себя шёпотом, тем же голосом, каким ругалась на плащ, на подкладку, на родственников.

– Так. Нет. Не так. Ты берёшь, я даю. Нет, ты берёшь вот так. Это что, торг? Ты со мной торгуешься? Ладно. Половину сейчас, половину потом. Нет? Всё сейчас? – Девочка взяла. Ульма посмотрела на неё сверху с изумлением человека, которому впервые в жизни уступили на рынке. – Тавьер. Она торгуется лучше меня.

Он хотел ответить и не смог. Кора дошла до подбородка за последнюю ночь, обняла горло, легла под челюстью мелкими рядами, петля к петле. Он сглотнул, и глотать было больно.

– Вижу, – сказал он.

Голос вышел хриплый, и на краю его было что-то новое. Ровное. Кто-то другой договаривал за него последнюю букву, аккуратно, не торопясь.

Брух на полу поднял голову и посмотрел на него.

Ульма тоже посмотрела. Потом опустила глаза к девочке и сказала ей:

– Ешь. Ты тощая.

Девочка ела и смотрела не на мать, а на полки. Новорождённые не видят дальше руки, и Пэлла, вернувшаяся с похлёбкой, так и сказала: «Не видит она, это так кажется», – и сама замолчала, потому что девочка смотрела именно туда, над печной трубой, и не мигала.

Руки в банках махали ей.

Не все. Тавьер заметил это потом, ночью, когда пересчитал. Но в полдень ему показалось, что все: Тихоня, которую Ульма зимой переименовала в Певицу, хотя Тавьер её так и не называл; Скрипач, сбившийся со своей вечной гаммы;

Пекарь; Близнецы; Гребец; Малой; Тётка Хадда на верхней полке. Они поворачивались в мутной воде ладонями к корзине и махали, медленно, от запястья, вразнобой, и банки позвякивали о шерсть на полках. Девочка шевелила пальцами в ответ, и это, конечно, ничего не значило, младенцы всегда шевелят пальцами.

– Ничего не значит, – сказала Пэлла и плюнула через плечо.

Две банки не махали. Банка с двумя пальцами Мэввы стояла на подоконнике рядом с тихой урной, и пальцы в ней лежали неподвижно, остывшие ещё в начале зимы. И банка с рукой «Прости» на средней полке: левая, женская, с вросшим кольцом, остывшая посреди знака в первую ночь Сулэйна. Её пальцы так и застыли, сложенные для недописанной буквы.

И ещё одна. Маленькая банка на краю нижней полки, где лежала пластина коры, которую Орвэй срезал с груди Тавьера в конце той зимы. Она не махала: ей было нечем. Она шептала. Ульма потом говорила, что слышит её только по ночам, но в тот полдень Тавьер тоже слышал. Голос тише мыши. Обрывки чужих часов: «…и тогда он поставил лодку на берег…», «…а мать говорила, что вишня кислая…», «…пусть пахнет домом…».

Он подошёл к полке и повернул банку надписью к стене. Это ничего не изменило.

На закате он спустился к краю.

Он не собирался. Ульма впервые за двое суток уснула, с открытым ртом, девочка тоже, а Тавьер сидел у корзины и вдруг обнаружил, что идёт вниз по лестнице. Седьмая ступень качнулась под ним, и он не стал возвращаться.

На ярмарочной площади было тихо так, как не бывало никогда. Торговцы урнами стояли у лотков и не кричали. Рыба на жаровнях подгорала, и никто её не переворачивал. У бортика сидели мэйруки, все, сколько их было в Тэмхе, человек сорок, и не слушали шахту. Они сидели к ней спиной. Хэмм Ралл сидел среди них с головой, замотанной тряпкой поверх раковин ушей, и Нэббэ держал его за руку. Слово ушло из них к полудню, как уходит икота. Но повернуться они боялись.

Когда Тавьер вышел на площадь, все посмотрели на него. Всю жизнь он умел ходить так, чтобы взгляд проскальзывал мимо. Сейчас взгляд цеплялся за подбородок, за тёмные ряды коры и висел на них.

Он встал у края Ратховой ступени, в толпе, и толпа отодвинулась на шаг. Не со страхом. Так отодвигаются от человека, который несёт полную чашу.

Ратхин вышел на ступень, когда солнце село за Иммарр. Старый, седой, с коркой на обеих щеках, в сером плаще, с листом в руке. Он читал вниз каждый вечер сто лет, и голос у него был такой, каким читают в пустую комнату: громкий, но никому. Он развернул лист, поднял глаза на толпу, которая никогда так на него не смотрела, сбился и начал снова.

– Аввэ Тольм, – прочитал он вниз. – Банная улица. Эрна. Сто шестьдесят восемь лет.

Имя упало в шахту. Мэйруки не повернулись.

На Банной улице в ту ночь давали хаммэ. Аввэ Тольм сидела во главе стола в белом; пятьдесят лет она варила мыло в подвале, руки у неё вросли в колени ладонями вверх, и ладони до сих пор пахли щёлоком. Внуки, все старые, пели ей песни и смеялись от души. Ночью её положили на кровать, внучка взяла её за руку, и дверь дома оставили открытой, чтобы не держать.

И ничего не было.

Голос не пришёл. Аввэ Тольм лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок, внучка держала её руку до рассвета, и на рассвете рука была такая же тёплая, как вечером. Аввэ Тольм сказала: «Ну». И больше ничего не сказала.

Утром на Банную не принесли остывшего. У старухи Тольм в прошлом веке отвалились два пальца на ноге, они жили в банке у её сестры, и сестра с рассвета стояла с банкой на пороге и ждала, когда пальцы остынут. Пальцы шевелились, как шевелились пятьдесят лет. Сестра стояла до полудня. Потом унесла банку в дом.

На второй вечер ратхин прочитал вниз то же имя. Голос у него дрожал.

– Аввэ Тольм. Банная улица.

На Банной дали второе хаммэ. Второго хаммэ не давал никто и никогда, и никто не знал, как это делается: родня принесла то, что осталось от первого, соседи принесли своё, сели за тот же стол, и Аввэ Тольм сидела во главе в той же белой рубахе, которую не успели постирать. Пели те же песни. Смеялись меньше. Ночью дверь опять оставили открытой.

И ничего не было.

На третий вечер ратхин вышел на ступень без листа. Постоял. Посмотрел вниз. Потом повернулся к сотням лиц, ничего не сказал и ушёл обратно в Дом Ратха. В ту ночь вниз не прочитали никого. Первый раз за сто лет.

На четвёртый день вэрники Тэмхи закрыли лавки. Дуррэк Ормс, всю зиму продававший щепотки земли с порога победителя, сам заколотил окна конторы досками крест-накрест, неловко, и прибил над дверью табличку «Ушёл по делам». Место во вэрре вчера стоило дороже дома. Сегодня оно стоило столько, сколько стоит обещание человека, который перестал отвечать на письма. По вечерам у закрытых контор стояли старики с бумагами и смотрели на доски.

На пятый день Шимма Фро впервые за сто двадцать лет не приняла ставок.

Пим прибежал с Ярмарочной террасы с круглыми глазами. В «Хэнниш» пришёл лэйн из второго лагеря и положил на дубовую спину Олла две монеты: «На то, что к Сулэйну оживёт». Шимма посмотрела на лэйна белым глазом, тем, который видит, кто врёт. Потом сказала Табурету: «Убери». Табурет взял монеты двумя пальцами, вложил лэйну в ладонь, закрыл её своей и подержал. Над стойкой висела надпись мелом «Шимма Фро денег не возвращает». Её никто не стёр. Потом Шимма велела Сэффу закрыть ставни, рано,

чего не бывало даже в ночь, когда умерла Шарш.

– Она сказала, – Пим перевёл дух, – она сказала: «На это я не ставлю. На это никто не ставит». А Хинн спросила почему, а она сказала: «Потому что это не игра, дура, это мальчик».

– Это про тебя, – сказал Пим Тавьеру.

– Я понял.

– А почему ты мальчик? Ты же старый.

– Не знаю, – сказал Тавьер, и на краю голоса снова проступило ровное, и Пим услышал и больше не спрашивал. Он сел на пол у корзины смотреть, как девочка спит, и Брух положил ему морду на колени.

Тэмха не уходила от их двери. Никто не стучал, но каждое утро на крыльце что-нибудь лежало: пирог в тряпке, мешочек крупы, луковые лепёшки, явно Тиррхины, детская рубашка из старой простыни с неровным швом, погремушка с камешками. Ульма ругалась, что им столько не съесть, плакала над рубашкой со швом и не говорила почему.

Девочка почти не плакала. Пэлла на третий день сказала,

что это неправильно, дети должны орать, а эта молчит, будто её научили. Ульма сказала, что если кто-нибудь ещё раз скажет про её дочь «неправильно», она будет орать сама. Девочка в эту минуту открыла рот и закричала, сердито, на всю комнату. Пэлла сказала: «Ну вот», – и ушла довольная.

Брух не отходил от корзины. Если выходил во двор, возвращался бегом, тяжело, по-стариковски. Когда Тавьер говорил, поднимал голову и смотрел на него. Каждый раз.

Говорил Тавьер меньше, чем всегда, а всегда он говорил мало. Каждое слово стоило ему горла: кора под челюстью не пускала, и он сглатывал, прежде чем сказать, и выбирал короткие слова. «Да». «Нет». «Спи». «Ешь». На краю каждого слова сидело то чужое, аккуратное, договаривающее последнюю букву, и с каждым днём оно забирало себе на полбуквы больше. Ульма замечала и молчала. Когда он говорил, она на мгновение переставала дышать, а потом начинала снова.

Кора за эти ночи не прибавила ни слоя. Он проверял каждое утро у таза, пальцами, как всю зиму, по слою после каждого тарха в городе. Теперь тархов не было, и кора стояла, где стояла: под подбородком, вокруг горла, до самых ушей. Так стоит вода в реке перед тем, как снести плотину.

На седьмую ночь он сломался.

Ничего не случилось. Это было хуже всего. Девочка поела и уснула. Брух вздохнул. Банка шептала. Тавьер сидел на полу у табурета, спиной к стене, там, где сидел в детстве, и смотрел на свои ладони. Чистые. Кора остановилась у запястий и за всю зиму ни разу их не переступила. Серый лоскут шарфа на левом запястье, два оборота, был тёплый. Мать в последний вечер привязала его обратно к узлу; потом он отвязал его снова и надел, как носил в шахте. Он потрогал шерсть.

И сказал вслух, хрипло, в пустую комнату:

– Кто его просил?

Ульма открыла глаза. Она не спала.

– Кто его просил, – сказал Тавьер громче, и горло обожгло кипятком, и он не остановился. – Кто его просил меня выбирать? Я просил за мать. Я стоял перед ним и просил за мать. А он смотрел на моё плечо. Он смотрел на плечо, Ульма. Я думал, он смотрит, потому что я держал дверь. А он смотрел, как смотрят на доску в лавке. Годится или нет. – Он встал и не заметил, что встаёт. – Я не просил. Я двадцать три года ничего не просил, я подбирал. Подбирал руки, которые никому не нужны, ставил на полку, давал имена, и никто меня

не просил, я сам. А он… он меня подобрал. Как я их. Не спросил. Посмотрел, годится, и в банку.

Девочка в корзине пошевелилась. Брух поднял голову.

– Кто его просил, – сказал Тавьер в третий раз, и на последнем слове голос ушёл из него целиком, в то чужое, и последнее слово сказал не он. Чисто, без хрипа, с аккуратной паузой перед ним: «Просил».

Он замолчал. У него тряслись руки.

Ульма села на кровати.

Он ждал, что она скажет. У неё всегда был ответ, и план, и запасной план. Она торговалась с ратхином у весов, с хэссом, с собственной бабкой.

Ульма молчала. Лицо у неё в темноте за печкой было белое, губы шевельнулись, как у его матери, когда та начинала считать, и ничего не сказали.

Она не знала.

Она встала, босая, в рубахе, подошла к нему и не обняла. Взяла его руку, чистую, тёплую, с лоскутом на запястье.

Взяла так, как учила Тиррха зимой, когда они упражнялись друг на друге и хохотали от стыда: не сжимая, не гладя. Так, чтобы второй мог уйти. Тавьер стоял и смотрел на свою руку в её руке.

В дверь постучали.

Три раза. Вежливо. И после стука не открыли, а подождали. В Тэмхе так не стучат. В Тэмхе так стучат только ратхины.

Брух глухо заворчал. Ульма не отпустила руку. Они пошли открывать вдвоём, и Тавьер отодвинул засов.

На пороге стояла Ойса Квелл.

Без книги. Тавьер не помнил её без книги. Руки пустые, она не знала, куда их деть, и держала сложенными у груди, ладонь в ладонь. Серый плащ наброшен наспех, криво, ворот сбит, и бугорок коры у горла виден весь. За зиму он вырос вдвое.

За её спиной внизу, на краю, горели костры мэйруков, и было слышно, как кто-то из них кашляет.

– Простите, – сказала Ойса Квелл. Голос у неё был такой

же сухой, как в кабинете с окном на воронку, только тише.
– Поздно. Я знаю, что поздно.

Она посмотрела на Ульму. На их руки. Потом на Тавьера, на его горло, и не отвела глаз, как отводила всегда.

– Мне нужно рассказать вам про Гуррэн, – сказала Ойса Квелл. – Я должна была сделать это в тот день, когда подписала ваш допуск.

Она расцепила руки. Пальцы у неё были чёрные от чернил.

Глава 2. Крошечный носок, обманувший решётку.

Ульма не пошла.

Она хотела. Уже искала под кроватью башмаки одной рукой, потому что другой держала девочку, и говорила, что ратхины ходят медленно и она их обгонит, а Ойса Квелл стояла на пороге, не входя, и молчала так вежливо, что Ульма в конце концов села на кровать и сказала: «Ладно». Потом: «Нет». Потом посмотрела на девочку, которая спала у неё на сгибе локтя, сжав кулак у самого рта, и сказала опять: «Ладно».

– Иди, – сказала она Тавьеру. – Потом всё расскажешь. Всё, слышишь. Не половину. Я знаю, как ты рассказываешь. Ты рассказываешь одну руку из пяти и думаешь, что это рука.

– Всё, – сказал он.

– Врёшь. Ладно. – Она отвернулась к стене, потом обратно. – Ойса Квелл. Если вы его там оставите, я приду и сяду у вас в кабинете, с ней, и она будет орать. Она умеет. Спро-

сите у Пэллы.

– Я верну его до рассвета, – сказала Ойса.

– Вы не знаете, – сказала Ульма. – Никто ничего не знает. Идите.

Они шли вверх по Тэмхе, Ойса впереди, на полшага, держа фонарь низко, у колена, как держат ратхины, чтобы свет падал на ступени, а не на лица. Не говорили. Сорок две ступени, седьмая качнулась. Красильный спуск, тёмный, мокрый, пахнущий щёлоком. Синий двор, где в лужах между плитами стояла неподвижная краска и отражала фонарь, как синее стекло. Улица Харров, три прачечные, тёплая мыльная вода в стоках. На камне у средней, где каждую ночь левая рука с вросшим кольцом писала «прости», было чисто, и Тавьер всё равно посмотрел туда, как смотрят на место, где раньше висела картина.

Город не спал. Это было видно по окнам. В Тэмхе ночью горело мало окон: эрны спят мало, но свет дорог, и сидят в темноте, слушая, как шуршит под мостовой крэнна. Теперь горели все. В каждом окне кто-нибудь сидел и смотрел на улицу, и когда фонарь Ойсы проходил мимо, лица поворачивались следом. Седьмая ночь. Ни одного тарха за семь ночей. Тавьер чувствовал эти лица затылком.

На Нижнем мосту спали люди.

Раньше здесь не спал никто: мост узкий, старый, перила по пояс, под ним река с Вэллом на дне, который моргает сквозь воду, с мальками в волосах, и Ниэва с лампой на берегу. Но третий день к городу шли лэйны. Из всех семи лагерей, с узлами, с одеялами, с детьми, которых у лэйнов не было, и со стариками, которые были всегда. Кто-то пустил слух, что вэрра больше ничего не значит и что кхарн теперь заканчивает всех подряд, кто ляжет ближе к шахте. В Иммарр их не пускали. Тэмха пускала всех, но места не было, и лэйны спали где придётся: на лестницах, под навесами красилен, в каррэме на улице Красильщиков среди коз, на мосту.



Тавьер переступил тоже. Рука парня во сне легла ладонью на тёплые доски, и Тавьеру показалось, что доски под ней чуть подались, как тесто. Он остановился.

– Идёмте, – сказала Ойса, не оборачиваясь.

За мостом стояла лавка. Вернее, то, что было лавкой: прилавок под навесом, лоток, крюк для фонаря. Здесь торговала пирогами Ушша-колокол, та, от чьего крика у эрнов отлетали пуговицы, и бросала корку вниз, Вэллу, «чтобы не скучал». Теперь прилавок врос в перила. Не прислонился, не сдвинулся: врос, как врастает в стену шорр, и дерево с камнем сошлись в одно, бурое, гладкое, с наплывами, и по наплывам шли тонкие жилки, и жилки, если смотреть долго, медленно-медленно пульсировали. Крюк торчал из этого одного, как гвоздь из коры. Навес провис и тоже прирос краем. От лавки пахло тёплым. Не хлебом. Тёплым телом под одеялом.

– Позавчера ещё не было, – сказала Ойса.

Сказала так, как когда-то говорила «дверь уже не синяя»: чтобы исправить в бумаге. Тавьер посмотрел на неё. Она смотрела на лавку, держа фонарь у колена, и рука у неё не дрожала.

Дом Ратха стоял на своей террасе, ничьей, серый, длинный, с окнами-прорезями, и ночью из него, как всегда, доносился скрип перьев. Но тише. Тавьер помнил этот скрип с ночи перед записью, когда стоял у двери с полуночи и научился различать руки. Тогда их было много. Теперь различал три. Одна торопливая. Одна старая. И одна, ставившая в конце строки жирную точку, будто прибивала гвоздь.

Ойса открыла дверь своим ключом.

Внутри было темно, зал выше, чем снаружи, полки уходили во мрак, и книги на них скрипели, переворачиваясь во сне. Свет фонаря ложился на пол косым жёлтым пятном. У входа, за первым столом, на своём месте, сидел ратхин-шорр.

Он писал. Писал всегда, днём и ночью, потому что пальцы его правой руки давно ушли до второй фаланги в чернильницу и пустили там корни, и чернила текли из-под ногтей ровной тёмной струйкой, и строка выходила красивая, с наклоном, какой давно никто не умеет. Лицо смотрело чуть выше людей. Тавьер подошёл и заглянул в раскрытую книгу. Строчки были ровные, и в каждой стояло одно и то же: дата, пустое место, где должно было стоять имя, пустое место, где должен был стоять хэйра, и точка. Дата. Пустое. Пустое. Точка. Седьмая строка. Восьмая. По строке за каждую ночь.

Пустой.

– Ним, – сказал ратхин-шорр, не поднимая глаз. Голос шёл из-под пола. – Крэннер. Найр.

Он помолчал. Рука вела строку. Потом остановилась, впервые, может быть, за много лет, и чернила из-под ногтей собрались на странице в лужицу, и ратхин-шорр поднял лицо, медленно, со скрипом, как поднимается крышка старого сундука, и посмотрел. Не выше людей. На Тавьера.

– Сосуд, – сказал он.

И опустил лицо, и рука снова пошла по странице, и начала новую пустую строку.

Ойса взяла Тавьера за локоть. Первый раз, и, кажется, сама удивилась, и отпустила сразу.

– Вниз, – сказала она.

Нижнее хранилище было под залом, туда вела узкая каменная лестница без перил, и пока они спускались, скрип над головой становился глуше, а под ногами начинался другой. Полки здесь были старые, тёмные, и они не просто скрипели, а стонали, как корабельный борт, когда на него налега-

ет вода. Книги лежали стопками плашмя, перевязанные бечёвкой, и пахли не чернилами, а погребом, мышами и чем-то сладким, давним, вроде засохшего мёда.

Она поставила фонарь на стол и достала с самой нижней полки, из-под других, книгу.

Тонкую, в коже, которая когда-то была светлой, а теперь стала цвета ореховой скорлупы. На обложке ничего не было написано. Ойса развязала бечёвку, и руки её сделали это так, как делают то, что делали много раз: ловко, не глядя. Потом открыла первую страницу и отодвинулась, чтобы Тавьеру было видно.

Почерк был крупный, неровный, с сильным нажимом, какой бывает у людей, которые пишут редко и поэтому пишут всерьёз. Чернила выцвели до бурого. Внизу страницы было круглое расплывшееся пятно, как от капли воды.

«Записано рукой Вэйры Ольт, прачки с Харров, которая дошла до дна первой и говорила с ним. Год двадцатый после того, как просили.

Он сказал мне: присылайте каждый год сорок. Шахта сама поймёт, кого оставить. Я не вечный.

Я спросила: а дальше что? Он не ответил. Я спросила: а мне что? Он сказал: тебе ничего. Ты принесла слова. Это и есть.

Я записала всё, как он сказал. Больше не могу писать, руки трясутся. Мне двадцать лет. Я родилась за месяц до того, как просили».

Тавьер прочитал это трижды.

– Прачка с Харров, – сказал он.

– Да.

– Двадцать лет.

– Она была самая молодая из тех, кто тогда пробовал. Двадцать лет после Шаймарра люди лезли в шахту сами, по одному, по двое, с верёвками, искали её, Орру, хотели спросить, просить, ругаться. Никто не возвращался. Вэйра пошла, потому что её мать двенадцать лет лежала в стене на третьем ярусе и звала её. Каждую ночь. Мэйруки тогда ещё не умели слушать, но Вэйра слышала сама, с края. Дошла до дна. Мать не нашла. – Ойса провела пальцем над страницей, не касаясь. – Вернулась через одиннадцать дней. По Эмхарскому ходу, его тогда ещё не звали так. Её звали сверху всю

ночь подруги из прачечной, и ступени её держали. Она пришла в Дом Ратха, тогда это был просто дом, и ратх был просто книгой на столе, и продиктовала это. Писать не умела. Её научили за неделю, чтобы она написала своей рукой: она так хотела. Через год Дома устроили Гуррэн.

– Шахта сама поймёт, кого оставить, – сказал Тавьер.

– Да.

– Это не про то, кого стена возьмёт.

– Нет.

Ойса перевернула страницу. Там была таблица. Графы, разлинованные от руки, разными чернилами, разными почерками, сто двадцать лет почерков: в первой графе имена, во второй год, в третьей что-то, что Тавьер сначала принял за пятна, а потом понял, что это знак. Один и тот же. Короткая черта и сбоку крючок, похожий на приоткрытую дверь. И почти у каждого знака, позже, другими чернилами, косая черта поперёк. Зачёркнуто. Зачёркнуто. Зачёркнуто. Страница за страницей.

– Это ратхины ставят, – сказала Ойса. – Тем, на ком кора с юности. Найрам. У эрнов кора от времени, это другое, это не

считается. А если найр, и кора с юности, и он подаёт на допуск, в пустой строке внизу формы ставят этот знак. Нам так велели. Сто двадцать лет велят. Никто уже не помнит почему, кроме нескольких человек. Мне сказал старший ратхин, когда я стала старшей вместо него, перед своим тархом. Он сказал: смотри, у кого растёт не как у всех. – Она положила палец на косую черту. – Это значит: не пошла. Кора осталась, где была. Шахта пробует многих. У большинства кора так и стоит пятном до конца. Один из многих тысяч когда-нибудь отзывается. Человек дошёл или не дошёл, вернулся или нет, а кора не пошла.

Тавьер смотрел на столбцы. Знаков были сотни. Может быть, тысячи. Он перевернул страницу сам. Ещё столбцы. Он видел почерк, который ставил точку, как гвоздь, тот, с первого стола, ратхин-шорр, пятьдесят лет его знаков. Видел мелкий ровный почерк, буквы плечом к плечу. Её. Последние двадцать лет её.

Последняя заполненная строка была внизу страницы. Ним, Тавьер. Год сто семнадцатый. Знак. Крючок, похожий на приоткрытую дверь.

Без косой черты.

– Вы поставили, – сказал он.

– В первый же день. – Ойса не опустила глаз. – Вы держались за плечо. Всё время держались за плечо, вы не замечали. Я спросила, не холодно ли вам. Вы сказали «нет». Я поставила знак.

– И подписали.

– И подписала.

– И предложили забрать бумагу. До рассвета третьего дня. Вычеркнуть так, чтобы следа не осталось.

– Да.

– Вы знали, что я не заберу.

– Знала.

Что-то поднялось в нём, горячее, от живота к горлу, туда, где кора, и упёрлось в неё, и не прошло. Он знал это чувство. Узнал весной, в третьем лагере, над доской с зарубками отца, четырнадцать лет зарубок. Злость была новая, ей не было и года, он ещё не умел её держать, и она держала его.

– Вы сказали мне, что это хуже всего, – сказал он. Голос

хрипел. – Нет. Шимма сказала. Шимма сказала, что вы добрая и что это хуже всего. Я тогда не понял. Вы смотрели на меня, как ратхин на весах смотрит на мешок. Сколько весит. Годится. Как он, внизу. Вы все смотрели. Мне двадцать три года, я подбирал руки, я хотел, чтобы мать перестала считать. Вы знали, что я иду туда не за этим. Что меня туда несут. И сказали «хорошо».

Последнее слово ушло. Не всё, край. Ровно, тихо, аккуратно: «-шо».

Ойса стояла у стола и слушала. Не перебила. Не сказала «я хотела» или «вы не понимаете» или «мне тоже было». Слушала, как слушала, наверное, сотни людей, приходивших к ней с бумагами и кричавших, что место не подошло, что подошло не тому, что мать срослась со стулом, пока ждала. Лицо у неё было сухое и внимательное. Когда он замолчал, она подождала, не скажет ли он ещё.

Он не сказал.

– Да, – сказала Ойса Квелл. – Всё так.

И больше ничего. Не оправдывалась. Стояла в погребе Дома Ратха, в свете фонаря, среди стонущих полок, с бугорком коры у горла, и принимала это, как принимают бумагу,

которую подписали и уже нельзя вернуть.

Тавьер отвернулся.

В стене под самым потолком было окно. Узкая щель, наполовину ниже уровня земли, и в ней был виден кусок города снизу: край террасы, лестница, крыши Тэмхи, и дальше внизу Нижний мост и костры у шахты. Тавьер подошёл к окну, потому что больше идти было некуда.

Город светился во всех окнах. Но отсюда было видно и другое. Крыльцо дома на углу, старое, каменное, с вросшим в ступени шорром, вытянулось на улицу наплывом, как тесто из квашни, и почти коснулось крыльца напротив. Между ними оставалось шагов пять. Вчера было десять. Он помнил.

– Это началось на третью ночь, – сказала Ойса за его спиной. – Сначала в Иммарре. Там шорров больше. Они начали прорастать в соседние комнаты, через стены. Вчера в Доме Салварр шорр из восточного крыла пророс в западное. Через всю залу. Сто сорок лет сидел в кресле, теперь он в двух крыльях сразу и говорит из обоих. – Помолчала. – В книгах этого не пишут. Нет графы.

– Почему?

– Потому что никто не заканчивается. Всё, что раньше уходило через дверь, теперь остаётся. Триста в год – это немного, это почти ничего на шестьсот тысяч. Но это была дверь. Её приоткрывали. Теперь не приоткрывают. – Она подошла и встала рядом. – Тело растёт туда, куда может. Если некуда уходить, оно растёт друг в друга.

Седьмая ночь без тарха. Тавьер смотрел на свет в окнах, на крыльцо, которое тянулось к крыльцу, и думал о руках в банке, когда в банку кладут вторую. Они не дерутся. Сначала лежат порознь, а через неделю, через месяц он находит их сплетёнными пальцами. Разнять уже нельзя, только ножом. Вурха говорила.

– Это ещё не всё, – сказала Ойса. – Я привела вас не за этим.

Она взяла фонарь со стола.

– Куда?

– В Нирхэн, – сказала Ойса Квелл. – Вас ждут.

Люк был там же, где весной: под нижней террасой Иммарра, за сараем для садовых тачек, в каменном полу, с медным кольцом, затёртым до блеска. Ойса открыла замок сво-

им ключом, и Тавьер подумал, что у неё, должно быть, ключи от всего в этом городе, кроме одного. Вниз вела тёплая деревянная лестница, и снизу поднимался запах, который он не забыл бы и через шестьдесят лет: лаxx, тёплое молоко и бельё, высушенное на печи.

Зал был длинный и низкий, лампы горели через одну, ночные, прикрученные. Триста кроватей стояли рядами, как сто сорок лет, и на стенах висели детские рисунки дождя и лодок, такие старые, что бумага стала прозрачной, как луковая шелуха, и сквозь дождь проступала стена. На грифельной доске в конце зала кто-то вывел мелом: «Семью семь – сорок девять». Ниже, другой рукой, кривее: «А восемью восемь?». Ответа не было.

Дети не спали. Тавьер понял это не сразу, потому что они лежали тихо. Лежали и смотрели. Головы на подушках, маленькие, худые, со старыми глазами, повернулись к лестнице, когда он спустился, все разом, с шорохом, как поворачиваются к свету листья, и он вспомнил хэсс на втором ярусе, тысячи ладоней, повернувшихся к песне. У кроватей спали матери. Сидя, на стульях, головой на одеяле у детских коленей, или запрокинув голову к стене, с открытым ртом. Одна вросла в стул так, что спинка поднималась у неё из лопаток, как сложенные крылья. Другая вросла в кровать сына и спала, обняв его поверх одеяла рукой, которая уже стала частью

кроватной спинки.

Кэйна Ойха шла между рядами с лампой. Лампу она держала низко. Лахх в ней был разведён водой, потому что в этом году взнос задержали. Маленькая, круглая, с корой на обеих руках до локтей, в переднике с карманами, из которых торчали ложки. Увидела Ойсу и кивнула. Увидела Тавьера и остановилась. Лампа качнулась, и тени кроватей качнулись по стенам.

– Пришёл, – сказала Ойха. Не ему. Кому-то в глубине зала. – Пришёл, Эсхая.

– Я слышу, – ответил ровный детский голос.

Она сидела на кровати в третьем ряду, ближе к доске, с подушкой за спиной, в той же ночной рубашке, что весной, с той же тряпичной куклой на коленях, у которой вместо глаз были пришиты пуговицы, одна чёрная, другая синяя. Ей было сто сорок лет, она была ростом с восьмилетнюю, и лицо у неё было восьмилетнее, круглое, с остреньким подбородком, горячее от жара, который не проходил сто сорок лет. Только глаза были другие. Такие Тавьер видел у Хэмма Ралла, у Шиммы, у Аммуры. Глаза, которые видели всё, что можно увидеть, и устали не от этого, а от того, что видеть больше нечего.

Рядом на стуле сидела Лэммэ Вирр, её мать, сто семьдесят девять лет, маленькая, сухая, вся в тонкой коре, как старая яблоня, и держала дочь за руку. Не спала. Смотрела на Тавьера.

– Садись, – сказала Эсхая. – На пол. Тут все на полу сидят, кто приходит. Орвэй тоже на полу сидит, когда шьёт. Ему неудобно, а он сидит.

Тавьер сел на пол у кровати. Ойса осталась стоять в проходе с фонарём.

– Ойха сказала, – сказала Эсхая. – Про то, что мэйруки кричали. Ойха всё слышит. У неё сестра торгует урнами на площади, она к ней ходит по вечерам и всё приносит. Как кашу. Сначала остывшее, потом горячее. – Чуть наклонила голову. – Он сказал «пора». Тебе.

– Да.

– Покажи.

Не сразу понял. Потом понял и отвернул ворот. Эсхая смотрела на его горло долго, спокойно, как смотрят на рисунок на стене, который видели много раз и всё равно смот-

рят, потому что больше смотреть не на что. Дети на соседних кроватях приподнялись на локтях. По рядам шёл шорох: одеяла, рубашки, шёпот. Кто-то в дальнем ряду закашлялся сухим детским кашлем, и мать рядом, не просыпаясь, протянула руку и положила ему на грудь.

– Ровная, – сказала Эсхая. – Как вязаная.

Посмотрела на мать, потом снова на Тавьера.

– Ты не знаешь, что будет, – сказала она.

– Нет.

– И никто не знает. Ойса не знает. Орвэй не знает. Дома не знают, они только думают, что знают. – Погладила куклу по голове, по пуговицам. – Я тоже не знаю. Но я сто сорок лет думала. У меня было время. Я думала, как это будет, если будет. И решила. Ты слушай.

Тавьер слушал. Вокруг было так тихо, как бывает только в Нирхэне: ни крэнны под полом, ни шорохов, ни урн, только дыхание трёхсот детей, быстрое, горячее, и медленное дыхание их матерей.

– Если это будешь ты, – сказала Эсхая Вирр ровно, тем го-

лосом, который давно отвык ждать, – меня первой. Мы были первыми. Мы первыми заболели, первыми остались. Пусть нас первыми и заберут. Не потому, что мы маленькие. Нас и так все жалеют, это скучно. Потому что мы первые стоим.

Она подумала.

– И пусть кто-нибудь доскажет маме про дождь.

Лэммэ Вирр закрыла лицо свободной рукой. Другой, той, что держала дочь, не пошевелила.

– Жил-был дождь, – сказала она в ладонь, шёпотом, как говорят во сне. – Который боялся упасть…

И замолчала. На том же месте, что и всегда. Тавьер слышал это весной. Сто сорок лет на одном и том же месте.

– Видишь, – сказала Эсхая. – Она не может. Боится закончить. Если закончит, значит, всё. А я не могу, я не знаю, чем там кончается, она мне ни разу не сказала. – Пожала узкими плечами. – Пусть кто-нибудь. Кто угодно. Не обязательно правильно. Главное, чтобы до конца.

Тавьер не сказал «да». Он не знал, что может обещать, если голос, который скоро станет его голосом, ему не принад-

лежит. Сидел на полу у кровати и смотрел на девочку, которая была старше его прадеда, на куклу с разными глазами, на руку матери, которая сто сорок лет держала, не отпуская. Держать – это когда второй может уйти и не уходит. Здесь второй не мог уйти. Здесь держали тех, кто не мог.

Эсхая протянула руку и дотронулась до его ладони. Пальцы у неё были горячие и сухие, как песок на солнце.

– Чистая, – сказала она. – Хорошо.

И отняла руку, и легла на подушку, и закрыла глаза, и разговор был кончен.

Они вышли из люка перед рассветом. Ойса закрыла замок и долго стояла, держа ключ, и не убирала его.

– Она сказала вам больше, чем мне за двадцать лет, – сказала она.

– Она сказала мне одно.

– Да. Мне она этого не говорила.

Они спускались в Тэмху в сером свете, город не спал, на всех лестницах стояли люди и смотрели вниз, в одну сторо-

ну. Тавьер услышал гул раньше, чем увидел. Голоса, много, у реки. Кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то смеялся тем смехом, который выходит у человека, когда ему нечем больше.

Нижнего моста не было.

То есть он был. Стоял над рекой от берега до берега. Но это был не мост. За ночь доски, перила, сваи, камень опор, лавка Ушши на том конце, шорр Хорм на перилах, всё сошлось в одно. В одну дугу. Гладкую, бурую, тёплую, в наплывах, в тонких жилках, которые медленно, ровно пульсировали, и от дуги шёл пар в холодный утренний воздух, как от лошадиной спины. Края были закруглены, как края затянувшейся раны. Перила стали валом. Доски стали кожей, и в коже ещё угадывались прожилки дерева. По ней нельзя было пройти. Её нельзя было обойти. Мост закрылся, как закрывается рот.

И на середине дуги, в самой высокой точке, из гладкого бурого тела торчали три головы.

Старуха. Старик с номерком, номерок врос ему в щёку и торчал из коры, как пуговица. И парень в куртке носильщика с чужого плеча, тот, что храпел. Они вросли в мост по плечи, по грудь, и мост поднимался вокруг них, как тесто вокруг вдавленного пальца, и они были живы. Конечно, живы. Они

разговаривали.

– Ты храпел, – говорила старуха. Не кричала. Ворчала, сонно, как ворчат утром. – Я тебе говорила, тише. Я всю ночь говорила.

– Я не храпел, – сказал парень. Голос у него был испуганный и всё равно обиженный. – Это он храпел.

– Я не храпел, – сказал старик. – Я сорок лет не храплю. Я в лагере сорок лет, меня бы выгнали.

– Кто-то храпел, – сказала старуха. – А теперь что. Теперь не встать.

Помолчали. Внизу, на берегу, люди смотрели вверх. Ниэва стояла у воды с погасшей лампой, и Вэлл под водой тоже смотрел вверх, и мальки в его волосах не шевелились.

– Тепло хоть, – сказал парень.

– Тепло, – согласилась старуха. – Это да.

– Мне сон снился, – сказал старик. – Будто лодка. А я в ней лежу. И кто-то мне рассказывает. Долго так. Про меня. Я всё жду, когда он дойдёт до конца, а он не доходит.

– Это не сон, – сказала старуха. – Это я тебе всю ночь рассказывала, какой ты дурак.

И парень засмеялся. Тонко, растерянно, из бурой тёплой дуги над рекой, и с берега ему ответил кто-то, нервно, коротко, и замолчал.

Тавьер стоял на берегу рядом с Ойсой Квелл. Она смотрела на мост, держа у колена давно погасший фонарь. Ничего не записывала. Нечем было: книгу оставила дома.

– Позавчера ещё не было, – сказала она. И тут же, тише: – Вчера ещё не было.

Глава 3. Хор за простынями из луковой кожи

Орвэй Дамм проснулся оттого, что его правая рука играла.

Она лежала поверх одеяла, длинная, бледная, с плоскими ногтями, рука Тэвва Аррэ, и пальцы её шли по одеялу, как по клавишам, медленно, в темноте, играя что-то незнакомое. Не колыбельную. Колыбельную они играли часто, и он привык к ней, как привыкают к соседу, который поёт за стеной. Это было другое: три ноты вверх, пауза, три ноты вверх, пауза, и в каждой паузе слышалось, как кто-то на лестничной площадке переводит дух. Левая рука, Сойма, не играла. Она сжимала край одеяла в кулак и не отпускала.

Орвэй полежал, глядя на них. Потом сказал вслух, как говорил каждое утро шестьдесят лет:

— Доброе утро, мастера.

Пальцы правой сбились с лестницы, замерли, потом сыграли одну ноту, вниз. Ответили.

В мастерской пахло лаххом и розовой водой. Стены от пола до потолка занимали банки: крэнна, разобранная по вла-

дельцам и подписанная, как в аптеке, мелким ровным почерком, имя, дом, год. Кусок щеки старшей Салварр, срезанный сорок лет назад, когда под ней пошёл нарыв. Мизинец Тэнгорра, пришитый обратно и снова отпавший. Полоса кожи с плеча молодого лэйна, купленная за флакон лахха, нетронутая, на случай. Орвэй прошёл вдоль полок с лампой и остановился.

Банки шевелились. Не все, каждая десятая. Крэнна в них, обычно сонная, как вода в пруду, тянулась к стеклу, к соседней банке, и прижималась, и по стеклу изнутри шли мокрые следы ладоней и пальцев. Кусок щеки Салварр льнул к банке с мизинцем Тэнгорра. Мизинец отвечал. Между ними лежали два слоя стекла и полпальца воздуха, а они всё равно тянулись, как тянутся друг к другу через стол люди, которые хотят взяться за руки.

Он расставил банки подальше друг от друга. Это заняло час.

Город за окном рос.

Орвэй прожил в Иммарре всю жизнь и знал каждый камень, потому что почти каждый рано или поздно оказывался под его иглой: ваймер шьёт не людей, говорил учитель, ваймер шьёт город. Теперь город шился сам. За десять ночей

без тарха он изменился больше, чем за сто сорок лет. Орвэй шёл в Дом Салварр по главной лестнице, глядел по сторонам, и руки в перчатках шевелились у него в карманах, тоже разглядывая.

Белые дома Иммарра пускали корни. Не в землю, друг в друга. Между домом Сэвров и соседним, где раньше был проход в ладонь шириной, куда бегали за мышами кошки, теперь шла перемычка, гладкая, белая, с прожилками, тёплая на ощупь, и из неё торчал чей-то локоть. Шорр Сэвров сто лет просидел в кресле у восточной стены, а теперь сидел в двух домах сразу, и когда Орвэй проходил мимо, из окна соседнего дома послышался голос старого Сэвра, жалующийся на сквозняк. Чужие стояли во дворе, мать и две дочери, все эрны, смотрели на стену, из которой говорил их сосед, и не знали, что делать. Мать так и держала поднос, готовая кормить стену.

Улица Белых Ступеней, по которой Орвэй ходил к Тэнгоррам на ужины, закрылась наполовину. Два сада тянулись друг к другу, и садовые ограды, увитые шоррами, которые сто лет сидели на скамьях под розами, сомкнулись над улицей аркой. Розы цвели. Осенью, после Сулэйна, когда розы не цветут. Под аркой пахло так сладко, что у Орвэя заболела голова. Он ускорил шаг и тут же сбавил, потому что улица сузилась до плеча, пришлось идти боком, и роза коснулась

его щеки, и лепесток был тёплый, как губа.

Главная лестница срасталась ступенями. Каждая белая ступень наползала краем на нижнюю, как оставленное на ночь тесто, и между ними уже нельзя было просунуть лезвие. Лестница была мягкой. Чуть-чуть, как войлок. Орвэй посмотрел на ботинки и увидел, что ступень медленно подаётся, принимая форму подошвы. Он отдёрнул ногу, и след остался, а потом, не торопясь, затянулся.

У Верхних ворот кричали лэйны.

Он слышал их ещё с середины лестницы. Ворота, отделяющие Иммарр от средних террас, были закрыты третий день, и за решёткой стояла толпа. Тысяча, может быть, больше. Лэйны из всех семи лагерей, в одеялах, с узлами, со стариками на спинах, со стариками на тележках, со стариками, которые сами стали тележками, потому что за сорок лет в лагере срослись с тем, на чём их возили. Кто-то сказал им, что вэрра больше ничего не значит. Что кхарн теперь заканчивает всех, кто ближе. Что в белых домах Иммарра держат того, кто будет заканчивать, и если прорваться к нему, он закончит прорвавшихся. Стража Тэнгорр стояла за решёткой в два ряда, и десятник Хэлм Торрэ, широкий сонный эрн, у которого одна серебряная пуговица давно вросла в грудь, ходил вдоль ряда и повторял: «Не трогать. Не трогать их. Стоять».

Решётка тоже росла. Железные старые прутья обросли у основания бурым наплывом, наплыв полз вверх, и лэйны, державшиеся за прутья, уже не могли разжать рук. Старик в одеяле с бахромой стоял, прижавшись щекой к решётке, и плакал, пальцы его вросли в железо до второй фаланги, и он не замечал. Он кричал: «Пустите. Пустите, мне сто девяносто, у меня место было, номер сто сорок тысяч, я сорок лет стоял, пустите». За его спиной кричали другие. Голоса сливались в один, и в нём не было угрозы. Была просьба, такая огромная, что стала похожа на угрозу.

Орвэй прошёл мимо, не останавливаясь, потому что вайнер, который останавливается у каждой раны, не дошьёт ни одной. Руки в карманах сжались. Обе.

Дом Салварр стоял выше всех и был самым белым. Его строили до Шаймарра для людей, которые собирались умирать: окна большие, лестницы широкие, полы, по которым удобно выносить. Теперь дом был наполовину телом. Это было видно снаружи: западное крыло потеряло углы, стало круглым и мягким, как подушка, штукатурка на нём пошла трещинами, из трещин выглядывало бледно-розовое, и оно дышало.

Чтобы попасть в залу совета, надо было пройти через му-

зыкальную.

Орвэй знал, что так будет. Думал об этом всю дорогу, и всё равно, когда слуга в белом открыл двери, у него остановилось сердце, а руки в карманах дёрнулись так, что порвали подкладку.

Музыкальная зала Салварр была длинная, светлая, с высокими окнами, и посреди неё стоял огромный старый инструмент с костяными клавишами, на котором играли ещё до Хэйша. А за инструментом сидели братья Аррэ.

Тэвв и Сойм Аррэ сидели за ним восемьдесят лет. Они срослись с банкеткой, с ножками инструмента, с полом, плечом к плечу, как сидели, играя в четыре руки, и рук у них не было. Обе пары Орвэй срезал сам, шестьдесят лет назад. Руки давно не играли, братья были шоррами, а Орвэй был молод и нуждался в руках, ведь у ваймеров руки отказывают первыми. Дом Салварр продал ему руки братьев. Братья не возражали. Они тогда уже давно не говорили.

Теперь у братьев были культи, аккуратные, зашитые им самим, гладкие, лежащие на клавишах. И старые неподвижные лица с закрытыми глазами. За эти десять ночей с ними что-то случилось. Инструмент пророс в них. Или они в инструмент. Из-под крышки шли бледные отростки и входили

братьям в грудь, под рёбра, как корни в землю. Клавиши под культями шевелились сами. Медленно, одна за другой. Не звучали, молоточки внутри давно срослись со струнами. Но шевелились.

Руки Орвэя вырвались из карманов.

Он не позволил им. Хотел не позволить. Но они вынули себя из порванной подкладки сами, как вынимают себя из перчатки, и протянулись через всю залу к инструменту, к культям, к хозяевам, и пальцы в серой лайке пошли по воздуху, по невидимым клавишам, и заиграли то же, что играли клавиши под культями: три ноты вверх, пауза. Лестница. Площадка. Три ноты вверх.

Сойм Аррэ открыл глаза.

Он посмотрел через залу. Не на Орвэя. На свою левую руку, на руке Орвэя, в серой перчатке. Смотрел долго. Потом закрыл глаза. Клавиши под его культей сыграли одну ноту вниз. Как утром. Как ответ.

— Мастер Дамм, — сказал слуга в белом. — Вас ждут.

Орвэй засунул руки обратно в карманы. Они дрожали. Он прошёл через музыкальную залу, не глядя на инструмент,

вошёл в залу совета, и дверь за ним закрыли.

Зала совета Дома Салварр была круглой, и в её стене сидел Онгэр Салварр.

Наполовину. Левой половиной. Он сел в это кресло у стены, когда Орвэй был ещё мальчиком, чтобы председательствовать на совете Домов, и больше не встал: глава Дома Салварр сто лет председательствовал на всех советах, не сходя с места. Кресло вросло в стену, он врос в кресло, и теперь стена взяла его левый бок, левую руку, левую ногу, половину лица до носа. Правая половина оставалась его. Правый глаз, бледно-голубой, водянистый, двигался. Правая рука лежала на подлокотнике, на пальцах блестели кольца Дома. Левая половина была стеной: белая штукатурка, трещины, в трещинах розовое. Когда он говорил, говорил правый угол рта. Левый был в стене, но иногда, в паузах, стена рядом с ним тоже шевелилась, желая вставить слово.

Вэрэд Тэнгорр принесли вместе со столом.

Орвэй знал, что так будет, и всё равно не мог не смотреть. Глава Дома Тэнгорр, эрна двухсот лет, последние сорок лет врастала в своё кресло и в торец обеденного стола, и стол стал её продолжением, тарелки ей ставили прямо на кору. Встать она не могла, из дома её вынести было нельзя. Тогда

стол отпилили. Торец, её конец, полтора локтя мореного дуба с инкрустацией, на котором ещё видны были круги от сотен тарелок, вместе с креслом и с ней внесли в залу Салварр шесть человек в сером, с гербом трёх сомкнутых ладоней, и поставили напротив Онгэра. На торце, на её коре, стояла тарелка. Пустая. Поставили по привычке.

Аммура Веш сидела в кресле у окна, и восемь носильщиков в синем стояли за ней. Четыре сестры, восемь рук, из которых двигались пять. Они смотрели в окно, все четыре, и не повернулись, когда вошёл Орвэй.

Четвёртое кресло, у двери, стояло пустым. Кресло Дома Ратха. Ойса Квелл не пришла и не прислала никого. На кресле лежал сложенный вдвое лист бумаги, и никто его не развернул.

Сэнхар Тэнгорр стоял за спиной Вэрэд, у торца стола, как стоят наследники: прямо, руки за спиной. Без перчатки. Орвэй заметил это раньше, чем лицо. Правая рука, которую Сэнхар всю жизнь прятал в серую перчатку, была голая. Он держал её за спиной, в левой, и держал так, как держат чужую руку, которую боятся уронить.

— Ваймер пришёл, — сказал Онгэр Салварр правым углом рта. — Хорошо. Ваймер пусть слушает. Ваймер всё рав-

но потом всех шьёт.

Орвэй сел на табурет у стены, где садился всегда, ниже всех, сбоку. Руки положил на колени. Правая постукивала пальцем: три вверх, пауза.

— Я скажу коротко, — сказал Онгэр. — Я сто лет говорю длинно, а теперь мне некогда. — Стена у его левого уха шевельнулась. — Кхарн замолчал. Десять ночей никто не закончился. Мой дом за десять ночей пророс в соседний. Мой брат, который сидел в восточном крыле, теперь сидит и в западном, и в саду, и в колодце, я слышу его из колодца, когда подают воду. Через месяц мы все будем одним домом. Через год одним городом. Одним телом. Вы видели ворота?

— Видели, — сказала Вэрэд Тэнгорр.

Голос у неё был низкий, сухой, как скрип дуба, в который она вросла. Головы она не повернула. Не могла.

— Тогда я скажу, что нужно, — сказал Онгэр. — Дверь надо открыть. Всю. Настежь. Пусть все сразу. Сколько там? Шестьсот тысяч? Пусть. За час, за ночь, как получится. Я сто сорок лет хочу, чтобы меня закончили, я купил места для всех своих, у меня сто двадцать мест во вэрре, и все они ждут, и я жду, и больше не хочу ждать. — Правый глаз его за-

блестел. — Пусть хоть весь город. Кто мы такие, чтобы держать дверь?

Стена рядом с ним шевельнулась сильнее. Розовое в трещинах стало ярче. Орвэй смотрел на неё и думал, что она согласна.

— Шестьсот тысяч за час, — сказала Вэрэд. — И кто будет держать руки?

Онгэр не ответил.

— Шестьсот тысяч хэйр нет, — сказала Вэрэд. — Шестьсот тысяч тархов за час, и никто ничего никому не расскажет. Просто упадут. Как падали в Хэйш. Вы помните Хэйш, Онгэр. Вы были там. Я была там. Вы хотите, чтобы весь город сделал то, что сделали дети в тот год? Упал на полуслове?

— Я хочу, чтобы это кончилось.

— Это не кончится. Это начнётся. — Вэрэд помолчала. Пустая тарелка на её коре чуть звякнула, когда она вдохнула. — Есть другой путь. Простой. Мальчик, которого выбрали, живёт на нижней террасе, в доме на сорока двух ступенях. Кора у него до подбородка. Мой архив говорит, что он будет следующим. Мой архив сто сорок лет помнит каждый

договор и ни разу не ошибся. — Она сказала «мой архив», и Орвэй вспомнил три сросшихся шорра в длинной комнате без окон, которые знали, сколько простыней в неделю складывала прачка с Харров. — Значит, мы берём мальчика. Не силой. Договором. А пока он не подпишет, взнос за нижнюю террасу Дом вносить не будет. Дом в Иммарре, лаxx, всё, что он захочет, для девчонки, для ребёнка. А он, когда сядет, будет заканчивать по спискам. По нашим. Как ратх, только честнее. Дома знают, кому пора. Дома сто лет держат вэрру, мы знаем, кто ждёт дольше всех, кто болеет хуже всех, кто нужен, а кто нет.

— Кто нужен, а кто нет, — повторил Онгэр.
— Да.
— И кто решит?
— Совет.

Онгэр засмеялся. Половиной рта. Смех вышел странный, задыхающийся, и стена рядом засмеялась тоже, тише, глубже, из-под штукатурки, и у Орвэя на затылке поднялись волосы.

— Вэрэд, — сказал Онгэр. — Вы хотите держать в руке замок.
— Я хочу, чтобы у замка была ручка, — сказала Вэрэд Тэнгорр. — Иначе его будет держать кто попало.

Тишина. Орвэй смотрел на Аммуру. Четыре сестры смотрели в окно. Ни одна не повернулась.

— Есть ещё одно, — сказала Вэрэд. — Если мальчик не согласится. — Она повела глазами, не головой, вправо, туда, где за её плечом стоял Сэнхар. — У нас есть свой победитель. Эмхарский ход открывается только победителям. Мой внук дошёл до дна в этом году. Ему открыто. Он спустится. Сегодня, завтра. Мы будем кричать его имя сверху, весь Дом, все наши. Он сойдёт вниз, встанет перед кхарном и предложит себя. Вместо крэннера. Шахта выбирает, говорит архив. Пусть выберет ещё раз. Пусть выберет Тэнгорра. — Она помолчала. — Тогда ручка будет наша с самого начала.

Сэнхар не пошевелился.

Орвэй смотрел на его бледное вежливое лицо, гладко выбритое, на воротник, застёгнутый до горла, как в первый день Гуррэна, на голую правую руку за спиной, в левой. Он ждал, что Сэнхар поклонится. Сэнхар кланялся всю жизнь. Его так учили: если на наследника смотрят, он изнашивается, поэтому наследник кланяется и уходит за ширму.

— Нет, — сказал Сэнхар Тэнгорр.

Вэрэд не повернулась. Не могла. Но тарелка на её коре звякнула, хотя она не вдыхала.

— Повтори.

— Нет. — Сэнхар вынул правую руку из-за спины и опустил вдоль тела, голую, на виду у всех. Пальцы у него дрожали. — Я не пойду. Я больше никуда не пойду вниз.

— Ты наследник.

— Я отец. — Голос у него был ровный, вежливый, как всегда, только тише. — У меня сын. Он родился через ночь после её дочери. После дочери крэннера. Я держал его, бабушка. Этой рукой. Я боялся, что не смогу, что уроню, что рука не та. А я держал. Он тёплый. Он кричит. Он хватает за палец, вот здесь. — Сэнхар поднял руку и посмотрел на указательный палец, как смотрят на вещь, которую потеряли и нашли. — Я назвал его Сэйром.

Онгэр Салварр в стене шире приоткрыл правый глаз.

— Сэйром? У Тэнгорров нет Сэйров.

— Теперь есть. — Сэнхар не посмотрел на него. Он смотрел перед собой, в круглую стену, туда, где не было никого. — Был старик. Сэйр Модд. Сто сорок лет, кора до глаз, палка. Он извинялся перед камнями. Шёл так, чтобы жене не было щекотно, она у него ступенькой на лестнице. На втором ярусе, в горле, он не мог сбить шаг, колени не гнулись.

Я сказал «простите» и толкнул его. Хэсс его унёс. Аккуратно, на руках. Он сказал: «Ну что вы, не надо». Он мне это сказал. Мне. — Сэнхар помолчал. — Я слышу его по ночам. Каждую ночь. Я назвал сына его именем, чтобы слышать и днём. Я не пойду вниз, бабушка. Я туда никого больше не толкну. Даже себя.

Тишина была такая, что Орвэй слышал, как в соседней зале, за дверью, под культями братьев Аррэ шевелятся клавиши. Три вверх. Пауза.

Вэрэд Тэнгорр молчала. Пустая тарелка на её коре стояла неподвижно. Потом она закрыла глаза. И Орвэй, который за жизнь видел тысячи лиц вблизи, под иглой, когда люди не притворяются, увидел на этом двухсотлетнем лице, вросшем в дуб, то, чего не ожидал. Не гнев. Усталость. Так устаёт дерево, которое сто лет держит на себе стол.

И тогда заговорила Аммура Веш.

Четыре сестры повернулись от окна, все разом, со скрипом кресла, и восемь носильщиков в синем качнулись за ними, как роща. Орвэй никогда не слышал, чтобы Аммура говорила на совете. Она молчала, а потом всё решалось так, как она хотела, и никто не помнил, когда она успела. Сейчас она смотрела на Вэрэд, на Онгэра, на пустое кресло Ратха с

неразвёрнутым листом, на Сэнхара с голой рукой, и четыре рта открылись по одному.

— Мы, — сказала первая.
— Не будем, — сказала вторая.
— Решать, — сказала третья.

И четвёртая, младшая, та, что плакала на каждом слове, сказала одна, без слёз:
— За него.

Она смотрела на Орвэя. Он не знал, почему на него.

Онгэр Салварр в стене засмеялся опять. Вэрэд открыла глаза.

— Вы не будете, — сказала она Аммуре. — Хорошо. А город ждать не будет. Онгэр хочет распахнуть, я хочу договор, вы ничего не хотите, а ворота растут, и мосты растут, и ваш дом через месяц прорастёт в мой, и ваша девочка с ребёнком будет жить в стене, которая говорит голосом моего архива. — Она перевела глаза. — Мастер Дамм.

Орвэй поднялся.

— Вы ходите в Тэмху. Вы знаете Тэмху лучше нас. Вы

стояли на мосту с ними весной, мне сказали. — Вэрэд смотрела на него без злобы, сухо, как смотрят на инструмент, который пока ещё режет. — Возьмите стражу. Двадцать человек, Торрэ даст. Спуститесь на нижнюю террасу и приведите крэннера. Не пригласите. Приведите. Сюда, в этот зал. Мы поговорим с ним все вместе. Пусть сам скажет, кто его выбрал и на что он согласен.

Онгэр Салварр кивнул. Тем, что у него ещё кивало.

Четыре сестры Веш промолчали. Все четыре. От этого молчания у Орвэя в левой руке, в руке Сойма Аррэ, свело мизинец.

— Когда? — спросил он.
— Пока он ещё может говорить, — сказала Вэрэд Тэнгорр.

Он вышел из Дома Салварр на закате.

Прошёл через музыкальную залу, не глядя на инструмент. Руки в карманах лежали тихо. Слишком тихо: не играли, не сжимались, ждали, как ждут привязанные у порога собаки. На крыльце Орвэй остановился. С крыльца был виден весь Ирмаун, сверху вниз, как с края воронки виден весь Дрэммар.

Иммарр был белый, и белое было мягким. Крыши, сады, колоннады, между ними перемычки, арки, наплывы, тёплые даже на вид, и над садами поднимался пар, потому что тело теплее воздуха. Ниже, на средних террасах, у Верхних ворот всё ещё стояла толпа, и Орвэй слышал её отсюда: не слова, гул, ровный, как гул шарвов, о котором рассказывают мэйруки. Ещё ниже Тэмха, тёмная, тесная, с огоньками во всех окнах. Там крыльца тянулись к крыльцам. Улицы сузились и искривились, и весь город казался сжатым в чьём-то кулаке. Нижний мост над рекой был бурой дугой, и на самом верху её темнели три точки.

А на самом дне, у края шахты, у Ратховой ступени, где сегодня опять никто не читал вниз, стоял человек.

Один. Маленький, отсюда меньше пальца. Мэйруки сидели вокруг на бортике спиной к шахте, десятый вечер, а он стоял лицом к ней, у самого края, где бортик кончается и начинается темнота. Лица Орвэй видеть не мог. Шеи тоже. Но руки в карманах вдруг шевельнулись обе, разом, и потянулись, как к братьям Аррэ через залу, и он понял, кто это.

Тавьер стоял у края и смотрел вниз.

Он не помнил, как пришёл. Помнил, как Ульма кормила девочку, как Пэлла ругалась, что в каррэме на Красильщиков

ночуют лэйны и козы их не любят, как Пим принёс с Ярмарочной террасы весть, что в Доме Салварр совет и что туда понесли Тэнгорршу вместе со столом. Помнил, как вышел за водой. Не помнил, как ведро осталось на седьмой ступени.

Из шахты поднимался тёплый пар, пахнущий свежевыкопанной землёй, как на дне. Внизу была темнота, ровная и спокойная, как вода в колодце, только колодец этот был шире улицы и глубже всего, что можно себе представить, и он знал теперь, насколько глубже. Тысяча четыреста тридцать ступеней Эмхарского хода. Девять ярусов. Гора с верёвками на плечах. Дверь, которую нельзя описать. Щель тоньше волоса.

Мэйруки сидели к нему спиной и не оборачивались. Хэмм Ралл с замотанной головой, Нэббэ, мэйрук с приросшими ушами. Они чувствовали, что он стоит. Не оборачивались.

Тавьер открыл рот.

Горло не пускало. Кора под челюстью стянула его петлёй, он сглотнул, и было больно, и всё равно открыл рот шире, и набрал воздуха столько, сколько мать не могла набрать двадцать лет, и крикнул вниз.

— Почему я?

Голос ушёл в темноту. Хриплый, сорванный, его собственный, только на последнем звуке ровный и чужой. «Я». Он ударился о стену шахты, отскочил, ушёл глубже, и Тавьер слышал, как он уходит, тише, тише, мимо колыбелей первого яруса, где колокольчики качаются сами, мимо хэсса, мимо стены, которая зовёт маму, мимо узкой двери, где поёт Трэнь, всё ниже, туда, куда не доходит ничей голос, кроме одного.

— Почему я?! — крикнул он ещё раз, и горло лопнуло чем-то тёплым, солёным, он сплюнул на камень и крикнул в третий раз, уже

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.